**Николай Тертышный**

**А потом ещё была война**

новелла

«…Господи, даруй ми зрети мои прегрешения

и не осуждати брата моего…»

…Двое с ружьями бредут по самому гребню, сторонясь глубокого сугроба, устало выбирая плешины без таволожки, где легче идти. Охота не удалась. Небо насупилось, отяжелело, повисло низко над озябшим лесом и, наконец, не удержалось, запоршило серым снегом. Наискось потянул ветерок, проникая влагою за потный воротник.

- Переждём, Федосеич! – младший щурится в секущую сырую мглу и определённо знает: такой снегопад недолог. Старший остановился, шумно высморкался, придерживая нос костлявым пальцем с жёлтым горбатым ногтем, огляделся цепким белёсым глазом.

- Вот, тута, – шагнул к дуплистой громадной липе, хранящей с подветренной стороны в снегу оголённый овражек земли под серою рваниной листьев. Присели на корточки. У младшего холодный синий ствол оцарапал дерево, роняя в снег шершавую корочку. Липа обиделась, недовольно заворчала, бросив сверху рыхлым снежком, не попала и успокоилась, вслушиваясь в посвист мокрых «мух». Младший, прикрываясь полой фуфайки, достал сигареты. Нехотя зашипела спичка, облизывая тёплым язычком тёмную ладонь. Старший потянулся к огню, долгой затяжкой прикуривал, опустив морщинистые веки. Снежинка застряла в глубокой складке рваного шрама, но через секунду уже сбежала капелькой от глаза на скуластую щёку в грязную седину бакенбардов. Младший смачно пыхнул белым облачком, тут же унесённым за корявую безлистую ветку, в месиво зимнего неба.

- А помнишь, Федосеич? – и осёкся, глянув в настороженное лицо старшего.

- Тсс… – тяжёлая обветренная ладонь легла на вишнёвую щёку приклада, прокуренный палец, подрагивая, потянулся к настороженному изгибу курка.

…Почти четыре месяца в тюрьме должно быть не прошли даром. Тюрьма не мать родная и даже не тётка дальняя – по голове не гладит, а норовит ударить почём зря да побольнее. Митяя не только ударила, а сшибла и прошлась по всей его долговязой костлявости, не оставив, кажется, живого места и вытолкнула после недолгого суда в лагерь. После «крытой», с её вонючими стенами здесь должно было бы показаться легче. Но Митяй захандрил, вгоняя в тоску все свои восемнадцать годочков, всё своё ядреное деревенское начало. Худоба поразила его под корень, оставив на лице тонкие губы под скрючивающимся носом да осторожные большие глаза в чёрных костлявых впадинах. Митяй, кажется, собрался помирать.

- Ты чо, паря? Тоскуешь? – соболезновал ему ещё на этапе случайный мужичок, чистенький и аккуратный, что в сером обшарпанном вагоне казалось чудным и загадочным.

- Нельзя так. Тоску гони! Тута тоска – одно что погибель. Ты, покамест, позлись малость на себя самого, а потом и злобу гони. Полегчает, знамо дело. Живи сёдни, сейчас. Прошлое не твоё уж, не воротишь. А будучее – оно, паря, у всех лёгкое, помани – придёт, а не пощупаешь. Грёзы, одно слово, баловство…, как рукоблудье. Злоупотребишь – ноги протянешь. Воображенью страсти не отдавай. Завтрашним, стало быть, не греши. Сёдни живи, потому как у тебя и сёдни не тебе ноне принадлежит. Подняли утром – спасибочки, покормили – два спасибочки, а уж ежели к вечеру ещё и поспать дадут, так не грех и помолиться за добродейство этакое. Ты молись, паря, иногда. Поди, не забыл, как матка крест класть учила…?

Хотелось послать этого жальника… подальше. И Митяй, не силясь открывать рта, сделал это своим отрешённым взглядом, уводя его в потолок. Мужик не зло ушёл и после, никогда уж встречать его не приводилось. Вспоминая потом его, Митяй подумывал, что может быть образом того мужика говорил он сам с собою, жалел себя, укреплялся в возможности жить и тут, среди битой арестантской братии. «Прошлое не твоё…» – а куда ж его выбросишь? Оно здесь вот, в колючей голове. Малое, бесхитростное, а своё, беспокойное…

Задрались слободские. Верно из-за девок, как у нас бывает. Получили отпор, но обозлились тайно и нет-нет подлавливали митяевских поодиночке. Колотили изрядно. Как и тем злополучным вечером, когда Митька да ещё трое свойских удумали сбегать в слободу на тамошнюю молодёжную сходку. Вроде девчата чужие слаще? А может быть виною тому июньские духмяные вечера, да молодецкое сердце, наполняющееся неизбывной силищей, объяснения которой еще не знаешь в ту пору, но которая прёт из тебя и нету потому покоя ни тебе, ни окружающим. В слободе, как водится, и подрались. Помахали кулаками, разбили пару носов, разбежались. На том бы и драке конец. Да вот беда: на месте случившейся драки один из митяевских часы обронил. Где, да и когда ещё найдётся солидный дядька-родственник, что подарит ещё часы? У кого ещё из двух десятков сверстников часы имеются? Счастье такое редкое. У слободских вон, поди, и нет ни у кого из молодых часов. Нет, что ни говори, а за такой вещью позарез вернуться надо! Вернулись. Думали втихую полазить по траве в углу слободского парка, где драка случилась, да местные заметили. Свистнули всех своих, охочих до драки. Митяй со своими, конечно, в бег по-за дворами. Затаились за каким-то сараем, решили погоню переждать. Но когда топот ног послышался прямо на них, и уж можно было разглядеть надвигающуюся вооружённую кольями толпу, стало понятно: побьют крепко и больно. Нужно было чем-то обороняться. Один из митяевских, что постарше, потянул с крыши сарая попавшуюся в руку суковатую орясину и, когда толпа вплотную уж подступила, махнул ею, как мечом двуручным, сильно и безжалостно. Мчавший первым здоровый верзила в латаных штанах, больше похожий на доброго мужика, чем на недоросля, получив удар, вдруг рухнул на колени, обхватил голову руками, залился кровью и повалился кулём без стона, замертво. На самом конце той орясины был большущий кованый гвоздь, в темени никем не примеченный. Да и до примет ли в драке, до чужой ли головы, свой бы лоб уберечь. Драка не состоялась. Толпа кольцом обступила убитого, прижимая пришлых к стене сарая. Митька плохо соображал, ждал нападения и недоумевал: почему же их теперь-то не трогают? А вокруг из тьмы июньской ночи мерцали угрожающие скулы, кулаки, но в глазах не было ярости, были страх и оцепенение. К утру Митяя «со товарищи» увезли в предвариловку. К вечеру того же дня в тюрьму пришла весть о войне с немцами.

…На зоне тоска заела и вовсе. Октябрь пришёл сырой и неумолимо голодный. Где-то на воле за забором колонии народ надеялся к большим холодам управиться с фашистом, а зэкам уже урезали пайку. Кого готовили в штрафбат, кого, пожиже в коленях, малостатейных, спихнули в расконвойку: глядишь, сам, где кусок присмотрит, ноги не вытянет. Рыбий дух от баланды пробирался во все лагерные закоулки, выворачивал на изнанку воспалённое нутро, смрадно стоял сизым облаком над сортиром. Рыбьи головы, почему-то с красными вытаращенными глазами, одолевали во сне, стояли перед взором с истошным постоянством. Хотелось орать, задрав стриженую голову в чёрное небо. За две недели, как ему ни хотелось, Митяй ни разу не увидел звёзд над запреткой, где застыли идолами лобастые столбы, да раскинула длинно-длинно костлявые щупальца проволока.

Скрутило его в две недели. До расконвойки не дотянул. В изолятор с началом войны желающих оказывалось совсем мало. Теперь сюда только приносили и уносили… куда-то за дощатый наполовину рухнувший барак, когда-то служивший «первопоселенцам». Отнесли и Митяя на носилках за колючую калитку в грязно-жёлтое подслеповатое зданьице лагерного лазарета.

-Ну, керя, прощевай. Отцам привет передашь, коли чо, – дико шутнул «бугор», провожая Митьку вороньим искрящимся глазом. Сплюнул в сторону: «Дал Бог работничка…». И ушёл с напарником, громыхая сальными сапогами. Под наглым каблуком взвизгнула старая в сучках половица.

Лекарь объявился к вечеру. Глянул озабоченно в угол, где ещё полчаса назад подвывал в вонючий рукав фуфайки белобрысый мужик с пустыми мокрыми глазами, хапнул синегубым ртом воздуху, придержал его под глухо-застёгнутым воротом френча, сунул неловко руки в карманы чистого халата и выдохнул шумно через мясистые дрогнувшие ноздри:

- Понос…?

Митяй скорее ощутил, чем услышал, вопрос. Докторский голос сердит, но тайно мягок, с заботинкой. Не ответил. Казалось, с ответом выскочит последняя сила. Ноги под серым одеялом не выпрямлялись и казались деревянными до самих подколенных сухожилий. Доктор ответа не ждал, ушёл к другой стриженой голове.

Ночью думалось много и бессвязно. Подкатывала к горлу прописанная доктором солоноватая гадость, кое-как проглоченная накануне. «Чесночка бы, – словно кто-то скрежещуще лез в ухо. – Лучок тоже пойдёт…». Митяй силился вспомнить, где это он когда-то видел большущие вязанки лука, плетённые косами и развешенные аккуратно вдоль стен. В доме у отца не припоминает, разве что в далёком детстве, когда ещё была жива мама. Нет, дома такого не было. Федосей рано овдовел, перебивался с горем пополам в извозе, уходя с лошадью в наймы, бывало и на месяц-полтора. За младшими присматривала тётка, некрасивая баба, всегда злющая и неопрятная, у которой своих четверо «оглоедов». Так что Митяй лет с десяти был сам по себе. То в подпасках у плешивого деда Фомки под городом, в малой деревеньке, откуда мама родом. То в приблудах у дальней отцовской родственницы, что проживала в железнодорожной слободе, в бараке, дружном и шумном. «Вот у кого лук-чеснок!» Вспомнил-таки! В сумрачном чуланчике на гвоздях свешивающиеся золотистые косы. Митька так ярко представил себе эту картину, что казалось, на миг почувствовал и запахи барачного коридора, и луковичный дух сейчас среди серых сумерек лагерного лазарета. «Да где ж её найдёшь нынче, ту тётку? Она ещё в тридцать девятом куда-то на юг с пролётным киргизом подалась. Свои мужики не держались. Может потому, что детей не было? Вот к «чернявому» и прилепилась. Работящая тётка, но безудалая, как говорил отец. Где ж её сыщешь? На воле не запросто, а из-за «колючки» и того незбыточнее…». Митяй скрипел зубами, сжимая одеяло исхудавшим кулаком, плакал бесшумно, не вытирая горькой слезы. «А ведь знал адрес-то! Знал, пенёк свежесрубленный. Вспоминай, сволочь! Вспоминай, а не то загнёшься тут ни за понюх табаку…».

…В сортир добирался Митька, держась за стену. В голове безобразно квакали лягушки, ноги не слушались, под коленом ломило, как струна натянутое сухожилие. Но всё ж уходила тошнота, не крутило больше в пустом урчащем животе. Принесённый на днях сердобольным доктором зубок чеснока, Митяй долго нюхал, почти не чувствуя запаха, потом очистил жёсткую шелуху слабыми пальцами и долго грыз бело-жёлтую дольку передними зубами до тех пор пока въедливая горечь не загорелась в уголках губ, на кончике языка. Когда чесночный запах всё-таки одолел Митькино отрешённое обоняние, пришло чувство голода. Сначала слабое и уходящее к вечеру, дня через три оно превратилось в неодолимую тянущую под рёбрами боль. Баланду и кусок, положенной горбухи хлеба, Митька проглатывал мигом. Чувство голода чуть отступало, но через полчаса приходило вновь. Ходячие, кто посильнее, за глухою стеной изолятора на костерочке в кружках заводили крутой кипяток, мочили сухари, добавкою к лагерной кормёжке. Курили рыжую махру, густой сладкий дым которой ещё больше вызывал голод. Митька боялся заглядывать в больные глаза зэкам, боялся увидеть в них отражение своего истощённого лица. «Чёртова тётка! Фамилию бы вспомнить…». Ему казалось, что вспомни он сейчас адрес позабытой родственницы, стало бы легче на душе, появилась бы надежда. «Получить бы от тётки с десяток чесночных головок, обменял бы кое на какой харч. Оклемался бы, а там видно было бы. Не свалиться бы совсем с копыт. Вчера с «бугром» переговорил через «колючку». Удивлён пахан на мою живучесть. Обещал помочь. Глядишь, и поможет чем, вроде не совсем зверь. Щей бы домашних из печи, с мясом…».

…Метрах в сорока бесшумно скользнули к сугробу две пятнистые кабарожки. Остановились, задрав горбоносые головёнки заосторожничали, изготовились прыгать. Младший нетерпеливо одним носом шипяще выдавил: «Ну…». Ствол неторопливо выходил на цель. Сейчас тукнет глухо за воронёным железом маленький гвоздик, упрётся колючкою в блестящую шляпку капсюля и грохочущая, заждавшаяся смерть рванёт влажный воздух, устремляясь свинцом в тёплый подрагивающий бочок. Животное замрёт на миг, потом его отбросит выстрелом в сугроб. Оно забьётся секунду-другую, обагряя горячей кровью снег, потом потянется, словно распрямляя усталые тонюсенькие ножки и застынет, поводя в последний раз затуманенным влажным глазом.

…Митяй приметил её сидя в гальюне, из которого с неделю, почитай, и не выходил. Серая тень лениво скользнула под ноги из тёмного угла, но остановилась в метре от сапога, поблёскивая лаковым глазом, приподнялась на задние лапки, словно пытаясь лучше разглядеть изошедшего поносом зэка. «У, зверюга!» – секундное оцепенение прошло и Митька, брезгуя громко плюнул в крысу. Грызун вяло отреагировал, словно привык к подобному поведению посетителей сортира, но всё-таки убрался с глаз долой, волоча хвост по грязному, в плевках бетонному полу. Крыса деловито появлялась всякий раз, стоило задержаться на толчке лишних две-три минуты. Она воровато оценивала обстановку и, словно испытывая терпение, застывала в углу неподвижно, задирая вверх настороженный нос. Мысль убить её пришла Митьке после третьей встречи. Потом додумывал он это предприятие на «шконке» в тоскливую осеннюю ночь, не ощущая тела своего под вышарканным сукном холодного одеяла. Он вспомнил-таки адрес далёкой доброй тётки! Даже на душе посветлело от того и сердце затрепыхалось так неожиданно мелко-мелко, но звонко и радостно. Чёрные, насунувшиеся ворохом, мысли как-то сразу отступили, голова опустела приятно, и он подумал чисто и незамысловато: « Война, говорят, надолго. Оттого и голодно на зоне. Поляжет стриженый народ. Одно спасение – на фронт проситься. Но туда, кто с прохудившимся задом да негнущимися коленями, не требуется. Завтра тётке письмо скумекаю, а крысу… съем!».

…Медлительность грызуна оказалась притворной. Стоило Митьке, вооружённому старой рукояткой молотка, невесть каким образом попавшей в лазарет, сделать короткий взмах, как крыса метнулась пулей в зализанную боками расщелину. Рукоять бесполезно, надолго запоздав, стукнулась рядом и, показалось, виновато сгорбилась у стены. «Смазал!». Злобы не было, приходило тупое голодное упрямство. Второй раз рукоятка достала «зверя». Удар был не слишком силён, но ошалелая крыса, наверно от боли, шарахнулась прямо к Митяю. Он неловко успел только наступить ей на хвост. Грызун скрипуче заверещал, кидаясь зубами к сапогу. Стоило большого труда наклониться за рукояткой и потом ею прижать крысу к полу. Он долго мучил серую хозяйку сортира, прежде чем она всё-таки затихла. Митяй приподнял её за загривок, разглядывая грязно-серое брюшко.

…Никто из зэков не видел где и как потрошил Митька свою добычу. Только когда за стеной лазарета на тихом, почти бездымном костерке у него забулькало в большой кружке нехитрое варево, ходячие больные потянулись недоуменно на запах. От крысы несло… рыбою.

…«Фьють! Эге-гей! Давай ходи, ребятки…!» – выстрел громыхнул вверх раскатисто, но мирно и озорно. Кабарожки метнулись через сугроб и словно улетели вниз по увалу в глубокий, собранный распадком, снег. Младший недоумённо задрал ко лбу свои белёсые брови, не понимая выходки старого охотника.

-«Ты чо, Федосеич, пожалел…? Ну, ты даёшь! Её ведь за зиму раз только и увидишь. Упустил добычу. Эх…!» – и кинулся смотреть убегающие в снегу следы.

…К вечеру в зимовье сушили портянки, подвинув к печке-каменке сырые унты. Младший свежевал подстреленного-таки зайца, чинно с вдохновением, повесив зверушку к потолку. Сначала поколдовал ножом с минуту-две, потом быстро и ловко спустил льющуюся сквозь пальцы заячью шубейку. Заканчивал так же ловко и уверенно с внутренностью, бережно разделяя всё ножом, не пачкая мяса кровью. Старший курил у огня, поглядывая сквозь дымное облачко острым прищуром. Потом пили водку из большой алюминиевой кружки, смачно придыхая с подсоленной корки ржаного хлеба и закусывали пряным салом с чесноком…

Приморье